

Максим Горький

# О тараканах



Максим Горький  
**О тараканах**

«Public Domain»

1925

## **Горький М.**

О тараканах / М. Горький — «Public Domain», 1925

«На песчаном холме, на фоне темно-синего неба – мохнатая сосна, вся в звездах; под сосною рыжеватый, ржавый валун; сосна как-будто растет из камня – цветок его. За холмом – озеро; в гладко отшлифованной воде шевелятся золотыми тараканами отражения утонувших звезд. Вдали, в плотной тьме воды и воздуха, – зубчатые, желтые трещины, – огни невидимого города...»

## Максим Горький О тараканах

На песчаном холме, на фоне темно-синего неба – мохнатая сосна, вся в звездах; под сосною рыжеватый, ржавый валун; сосна как-будто растет из камня – цветок его. За холмом – озеро; в гладко отшлифованной воде шевелятся золотыми тараканами отражения утонувших звезд. Вдали, в плотной тьме воды и воздуха, – зубчатые, желтые трещины, – огни невидимого города.

У камня, на небольшой кучке золотых углей, качаются оранжевые огоньки, освещаая ноги в сапогах из листового железа, ноги бородатого человека в шапке с наушниками, в тяжелом овчинном тулупе; из бороды торчит трубка, на коленях человека – сухие ветки; он, потрескивая, мелко ломает их и скупое кормит ими огонь маленького костра; едва ли этот костер способен согреть его огромные, железные ноги.

Другой человек лежит, вытянувшись на песке, он прижался к рыжему боку валуна, лицо его прикрыто измятой шляпой, из-под шляпы высунулся костяной, голый подбородок, вокруг головы венцом лежат на песке синеватые волосы. Почему-то ясно, что этот человек – мертв.

– Кто это?

– А не видишь?

– Что с ним?

– Известно что – помер.

– Отчего?

– На ходу.

– Убит?

– Его спроси.

– А кто таков?

– Нездешний.

Человек с трубкой в зубах отвечает невнятно, неохотно и, как-будто, даже враждебно; трубка его погасла, не дымит, волосатое лицо стерто дрожащим отблеском костра. Пойду дальше, по дороге, измятой копытами терпеливых лошадей.

Ночь – суха, свежа; есть в ней что-то металлически холодное; от холода земля, вода и воздух твердеют, сжимаясь в единую массу; с неба и озера она пронизана, прошита медной проволокой звездных лучей. Очень тихо и кажется, что тишина тоже все густеет. В такую ночь легко итти капризной тропой дум в бесконечную даль воспоминаний.

«Нездешний» человек, который помер «на ходу», больше никуда не пойдет и никогда не почувствует усталости. Странно, что у меня не явилось желания приподнять шляпу с его лица, взглянуть каков он. Впрочем – мертвые однообразны: юморист Марк Твэн принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Нитчше, а умерший Нитчше напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга.

Звезды в небе, отражения звезд в озере и земные огни вдали воспринимаются как дерзкие просветы сквозь тьму осенней ночи в область какого-то вечного и, должно быть, очень холодного огня. «Вселенная суть горение, так же, как человеческая жизнь», – утверждает Шкалик, учитель физики, человек трезвого ума. Химия учит, что гниение суть тоже горение. Интересно: каким огнем сгорел «нездешний» человек, умерший «на ходу»?

Песок скрипит под ногами. Шильонский узник протоптал в камне пола тюрьмы своей глубокую тропу. От воспоминания об этом узнике фантазия всегда переносится к человечеству, которое тоже неумоимо и непрерывно протаптывает тропы сквозь тьму неведомого к познанию силы своего духа; «дух, возникнув из хаоса, стремится к совершенной гармонии».

Не помню, кому принадлежит эта высокая мысль. Анатолий Франс склонен думать, что «высокие мысли» так же наивны, как «низкие истины».

«Высокие мысли» не удаются мне, «низкие истины» – не нравятся. У меня трудная позиция человека, который, квартируя между небом и землею, оглушен ревом, воплем земли, ничего не понимает в астрономии, и которому в тихие ночи кажется, что созвездия иронически посвистывают.

Некто, помнится – Декарт, находил, что мыслить, это значит: стремиться к обоснованной связи истинных суждений. Другие утверждают, что кроме дьявола, именуемого отцом лжи, никто не знает, что такое суть истинное суждение. Мне кажется: эта бестия, дьявол, искренно убежден, что хорошая ложь полезнее плохой правды. И, несомненно, что это дьявол нашептал одному из поэтов слова, смутившие многих:

Мысль изреченная есть ложь.

Декарт, выделив душу из тела, как пламя из тьмы, сделал тьму – гуще, а пламя – холодным и должно быть поэтому «истинные суждения» не греют меня. Впрочем, я знаю только одно истинное суждение: ничто в мире не заслуживает большего внимания, чем друг и недруг мой, человек. Я знаю также, что, по оценке философа, это суждение стоит дешево.

Но еще дешевле и смешнее оно с какой-то другой, не высказанной с достаточной ясностью, но общепринятой точки зрения. В одном известном мне случае, некто наивный с великой тоскою спросил ближних:

– Понимаете ли вы, что такое человек?

В ответ ему все люди насмешливо улыбнулись, хотя не все они были идиотами.

Вот, человек умерший «на ходу» лежит там, сзади меня, под охраной угрюмого ближнего с погасшей трубкой в зубах, около маленького костра, огонь которого не греет. Мне ничего не известно об этом человеке, я знаю только одно: уж если он жил, – он человек истории. Совершенно недопустимо существование какого-то человека, который не имел бы своей истории. Вероятно и это – одно из бесчисленных моих заблуждений, но когда я думаю о храме, где обитают разнообразнейшие истины, грубая фантазия моя уподобляет сей храм одному из тех, впрочем необходимых, домов, куда мужчины разных возрастов ходят тратить избыток или восполнять недостаток своей любви к женщине.

Но, разумеется, я понимаю мудрость учителя Шкалика, который говорил гимназистам:

– «Истина необходима человеку так же, как слепому трезвый поводырь». Он писал книгу «Пифагор и логика числа», но, к сожалению, не успел окончить ее, заболев прогрессивным параличом.

Где-то налево, за рощей унылой ольхи, лает собака, лает тревожно, истерически захлебываясь желанием предупредить спящих людей о какой-то опасности. Собаку заслуженно именуют наиболее честным другом человека. Между собакой и пророком есть странное сходство, – это сказано не по недостатку уважения к пророкам, но только из любви к животному, которое ближе всех других подошло к человеку и, кажется, тоже обладает способностью предвидеть будущее. Собакам знакомы сновидения, – это уже много. У меня был фокс-терьер Тони; когда сновидения будили его, он, прибежав ко мне, тихонько выл и лаял; я уверен, что это он пытался рассказать мне свое сновидение. Я знал также шотландскую лайку Дети; когда ее хозяйка, Престония Мэн Мартин, играла на рояле, Дети ложилась под рояль и слушала великих музыкантов, странно, как бы изумленно открыв свои прекрасные глаза. Но лишь только Престония Мэн начинала барабанить один из бесчисленных маршей Суза, Дети уходила из гостиной, должно быть оскорбленная громкой профанацией величайшего искусства. Она была храброй собакой, яростно и ловко сражалась с барсуками, но панически боялась мышей.

Я знал также осла, влюбленного в лошадь; право же, я не скрываю здесь аллегии, обидной для кого-нибудь. Действительно, был такой осел и, когда его возлюбленную лошадь продали, он перестал есть, явно пытаясь убить себя голодом. Известен рассказ об осле, который после смерти хозяина своего утопился в Луаре.

Лошади – плачут; мучительно видеть, как из кротких и красивых глаз выкатываются немые слезы, и как по-детски обиженно дрожат их мягкие нижние губы. Много интересного и таинственного можно рассказать об уме птиц и мышей.

Интересно: была ли какая-нибудь собака, предчувствуя смерть «нездешнего» человека, который умер «на ходу»?

Отчаянно много знаю я анекдотов. Я оброс ими, точно киль корабля моллюсками и это мешало мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне: как всякий, уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе.

Весьма возможно, что человек, который лежит там, под сосной – сын швейцара дворянского собрания Василия Еремина, жандармского вахмистра; Еремин оказался неспособным к трудному делу политического розыска, потому что воспитание птиц увлекало его более сильно, чем ловля человек. И вот он переселился из казармы жандармского управления под каменную лестницу желтого с колоннами дворянского дома; там, в полутемной комнате с одним окном и важной, пузатой печью, он прожил семь лет, искусно и терпеливо обучая толстых, красногрудых снегирей насвистывать «Коль славен наш господь в Сионе», «Боже царя храни» и «Господи, воззвах тебе» на шестой глас. Воспитав птицу прославлять бога и царя, вахмистр продавал ее кому-нибудь из любителей оригинального или почтительно дарил преосвященному владыке Гурию, тюремному инспектору Топоркову и другим крупнейшим и наиболее благочестивым лицам Воргорода; своим искусством и мудрой щедростью своей вахмистр Еремин приобрел вполне заслуженную известность, а также скопил семьсот рублей.

Между любимым делом он, для порядка, женился на девушке-сироте; через год она родила ему сына, нареченного, в честь жандармского генерала Платонова, Платоном; а через пять лет жена скончалась, упав с крыши, куда залезла в припадке лунатизма. Вахмистра Еремина не очень огорчила смерть жены: она была женщиной рассеянного ума, за птицами ухаживала небрежно, клетки чистила плохо и, по доброте сердца, кормила снегирей как раз тогда, когда они должны были голодать. Ибо птицы прославляют богов земли и неба только с голода, свои же свободные песни поют ради любви, так же как и другие честные художники.

После смерти жены вахмистр быстро убедился, что пятилетний сын мешает ему жить: он открывал дверцы и ломал прутья клеток, выпуская птиц, затем, безуспешно стараясь поймать их, бил посуду, падал, разбивая себе лицо, обворовывал отца и снегирей, пожирая конопляное семя. Его нужно было часто бить, но он был толстенький, пухлый и какой-то жидкотельный: побои не действовали на него.

Кроме птиц, в каменной пещере под лестницей жили черные и рыжие пруссаки-тараканы, а также мыши; мыши, тихо питаясь семенем, просыпанным птицами на пол, никому не мешали, пруссаки тоже вели себя смиренно, а черные, заползая в клетки снегирей, будили их и почти каждый вечер испуганные птицы неистово бились, передавая страх свой из клетки в клетку.

– Бей тараканов! – приказал отец, вооружив сына подошвой резиновой галоши. Платон охотно стал прищелкивать усатых сожителей к штукатурке стен, но это недолго забавляло его, он скоро понял, что источником неудобств и обид его жизни являются насекомые, птицы и отец.

Когда он дорос до школьного возраста, он стал еще более раздражать отца, обнаруживая в шалостях молчаливое упрямство, оно принимало в глазах вахмистра не только характер преступления против власти, но угрожало убить его репутацию искуснейшего воспитателя птиц.

Ибо вахмистр с великим изумлением заметил, что некоторые из снегирей, уже обученные славословиям, вдруг онемели, нахохлились более мрачно, чем это вообще свойственно

им, а потом они стали несвоевременно умирать. Догадываясь о причине этих печальных явлений, вахмистр начал следить за сыном и скоро поймал его как раз в ту минуту, когда Платон, накалив шпильку на огне лампы, прижигал ею толстый черный язык одного из лучших певцов.

Схватив сына за волосы, тыкая лицом его в доску стола, солдат огорченно закричал:

– Чорт дурацкий, зачем ты делаешь это? Ведь птице-то больно? Больно, а? Говори, кривоногий дьяволенок!

– Не больно, – ответил сын, шмыгая носом, из которого брызгала кровь.

– Врешь, – как не больно?

– Они – рады.

Нужно было очень долго и разнообразно бить Платона, прежде чем он сказал, что ему надоел птичий свист, война с тараканами, что уход за снегирями и все вообще мешает ему учить уроки, и что он хочет утопиться в омуте, за мельницей.

– Попробуй, стервец! Я те утоплюсь, – пригрозил вахмистр, швырнув сына в угол, за печку, где жили тараканы и где, на жесткой кошме, спал Платон.

Вахмистр Еремин долго следил, чтобы сын не бегал зря по улицам, отпускал его только в церковь ко всенощной и обедне, заставлял помогать себе чистить лестницу, выбивать пыль из ковров и вообще всячески старался заполнить свободное время сына полезным трудом. Но все-таки Платон знал и радости, без которых совершенно невозможна жизнь больших и маленьких человечков. Осенью и зимою желтый дом дворянства сказочно оживлялся, по лестнице, парадно украшенной цветами, покрытой красным ковром, всходили, точно ангелы во сне Иакова, удивительно красивые женщины, их манил яркий свет наверху, и ласковая музыка изливалась навстречу им мягким потоком необыкновенной звучности. Платон, прикрываясь кадкой, в которой росло большое дерево, очарованно смотрел на женщин, слушал музыку, но отец, заметив его, подходил и подзатыльниками загонял под лестницу к снегирям и тараканам.

– А кто учиться будет, дурак? – грозно спрашивал он и уходил, плотно прикрыв дверь.

Платон садился учить уроки, но музыка, отрывая его от стола, поднимала на ноги; осторожно, бесшумно, точно кот за мышами, он шел темным, путаным коридором к задней лестнице на хоры и там, примостясь около музыкантов, оглушаемый визгом скрипок, ревом меди, смотрел вниз, на дно большой, ослепительно светлой комнаты. По блестящему полу, между колонн, похожих на деревья с золотыми ветвями, скользили и бегали ловкие военные, штатские; крепко обняв женщин, они кружились как заводные игрушки из раскрашенной жести, игрушки, которые свободно двигаются сами, если их завести маленьким ключиком.

Вблизи музыка была не так приятна, как издали, но все же Платон чувствовал, что она наполняет его необыкновенной, до слез сладкой скукой, заставляя забывать снегирей, тараканов, отца, учителя, мальчишек школы, не любивших его за трусость и угрюмость, филистимлян, апостолов и все остальное. Музыка уносила за пределы всего, что знакомо и обижает, что непонятно и тревожит. Иногда казалось, что музыка способна навсегда смыть неприятное и ненужное.

Отец находил его в состоянии полубабвения, отгибал железными пальцами ухо сына и, ущемив ухо, вел Платона вниз, нашептывая:

– А кто учиться будет, а кто будет дрыхнуть?

Платон снова садился к столу перед маленькой лампой голубого стекла и, преодолевая томление сладкой скуки, желание спать, пытался думать о купце, который продал двадцать два аршина сукна, об Исаве, который тоже что-то продал Иакову за похлебку, о деепричастии и сути. Пред ним устрашающе вставал кривоzubый учитель; непрерывно сморкаясь, он, квакающим голосом, говорил:

– Имена существительные, суть... Повтори, Еремин!

Имена существительные не интересовали Платона, а учитель носил необыкновенную фамилию – Бuzдыган и, глядя на его длинное тело с головою, похожей на яйцо, на его мокрый,

красный нос и слезоточивые глаза, Платон всегда с унынием думал: неужели есть такой край, где живут непохожие на людей длинные буздыгане и квакают:

– Квак? Квак?

Кроме того, Платон иногда находил, что шестью девять «суть» шестьдесят девять, а иногда ему казалось, что это – девяносто шесть, – обе цифры, похожие на мышей, были неустойчивы, капризно кувыркались, взмахивая хвостиками вверх они давали 66, а опустив хвостики вниз обращались в 99 и совершенно нельзя было понять, когда они именно показывают настоящую «суть». Буздыган же упрямо доказывал, что шестью девять 54, заставляя Платона думать: как это две большие цифры, помноженные одна на другую, дают две цифры меньше их. Учитель, никогда не соглашаясь с Платоном, часто оставлял его без обеда; это вызывало побои отца и, наконец, внушило Платону упрямую мысль: все, что он обязан понять, нарочито спутано окаянным словечком учителя – «суть», оно же сбивает с толка и самого Буздыгана, который, сердясь, сморкался и квакал все более часто, более грозно.

Из всего, чему учили в школе, только сказочные уроки веселого красавца попа Александра Фиалковского возбуждали внимание Платона, отводя его далеко в сторону от птиц, тараканов, всевозможных обид и жестких корок школьной науки. Поп рассказывал свои чудеснейшие истории так же интересно, как слепой нищий Мартын пел стихи, сидя в базарные дни на паперти церкви Трех Святителей; в эти дни Платон всегда опаздывал в школу и оставался «без обеда».

Музыка, вливаясь в каменную пещеру под лестницу сквозь дверь, через трубу печи, вздыхала, гудела, манила, ласковый шопот ее вторгался в голову и вытеснял оттуда все, что необходимо знать о воде, которая одновременно втекала в бассейн и вытекала из него, о признаках, которые отличают существительное от прилагательного. Музыка будила снегирей; чуть видные в сумраке, точно полупогасшие угли, уже подернутые пеплом, они начинали прыгать по жердочкам клеток, выскрипывая, высвистывая хвалу богу и царю, напоминая грешников с картинки, изображающей адовы муки. Музыка оживляла даже посудный шкаф, самую приятную вещь в полутемной пещере отца; на синих дверцах шкафа хорошей, золотистой краской было изображено широколицее, доброе солнце в красных иглах лучей; оно было несколько похоже на ежа, в подбородок ему ввернуто медное кольцо; если, повернув кольцо налево, осторожно тянуть его к себе, дверцы шкафа, взвизгнув, точно девчонка, когда ее внезапно ущипнешь, открывались. Солнце разрезала темная полоска: сначала узенькая, она, расширяясь, смешно раздвигала милую рожицу солнца; круглые, усатые глаза его, улыбаясь, расплывались, исчезали, а на внутренней стороне дверей шкафа цвели синие и красные цветы, наполняя комнату запахом различных кушаний, которые ежедневно дарил отцу кум его, повар, крестный отец Платона.

По красивым полкам шкафа разбегались тараканы, на верхней блестела чайная посуда и среди нее особенно соблазнительна была зеркального стекла ваза, почти всегда полная вареньем из кружовника, любимым лакомством вахмистра. Эта ваза формой своей напоминала Платону чашу, которую Христос видел в небесах Гефсиманского сада, и Платон был уверен, что если б тогда она была наполнена вареньем из кружовника, – Христос не сказал бы:

«Господи, пронеси чашу сию мимо меня!».

А на нижней полке шкафа стояла банка с патокой, ненавистная Платону; горько было смотреть на нее, ибо однажды, когда ему надоело избивать черных тараканов подошвой галоши, он придумал способ менее хлопотливого истребления насекомых: зачерпнув ложку клейкой сладости, он намазал ею портреты двух царей, одного – с бритым подбородком и баками и другого – широколицого с большою бородой. Портреты висели около печи, над постелью отца, и Платон правильно рассчитал: в первую же ночь множество прусаков и черных прилипло к портретам и особенно густо приклеились они к лицу бородатого царя.

Утром, проснувшись, сердито мигая, отец удивился:

– Что за дьявол? Вот видишь, лентяй, сколько их развелось, – сказал он сыну и хотел смахнуть тараканов ладонью, но ладонь, приклеившись, сорвала портрет со стены.

В этот день Платон не мог идти в школу, потому что отец лишил его возможности сидеть. Учился он дома, лежа на полу вверх спиной, не пошел он и на другой день, убежав на реку топиться. И с этого дня он возненавидел и царей вместе с тараканами, снегирями каменной ненавистью, а вахмистру Еремину стало ясно, что нельзя жить под одним потолком с этим молчаливым, белобрысым, упрямым зверенышем. Уши у него были неудобные, они так плотно прилегали к черепу, что прежде чем схватить за ухо, нужно было отогнуть его пальцем. В сумраке комнаты казалось даже, что у Платона совсем нет ушей, а слушает он круглыми глазами совенка, которые, никогда не мигая, следят за отцом, как за черным тараканом. Вообще этот человек был непонятен отцу, ненужен ему и внушал какие-то тревожные чувства.

Вахмистр лучше понимал снегирей, больше привык к ним, возможно, что он истратил на птиц весь запас чувства любви, которым обладал, да ведь и всех нас природа оделяет этим чувством в ничтожной дозе, лишь очень редко людей мучает избыток его.

Подождав, когда сын кончил второй класс школы, вахмистр отдал его в ученики «часовых дел мастеру» Ананию Тумпакову, толстому человеку с темными, жидкими глазами, которые переливались через стекла очков. Прищурив один глаз, схватив себя рукою за подбородок, Ананий сказал негромко, как человек, сильно уставший:

– Часовое ремесло мелкое и тонкое, прежде всего будь осторожен, мальчик. Вот – пяточок, иди к парикмахеру Гильому, – третий дом направо – остриги себе волосы.

В тот же вечер он показал Платону как нужно закрывать окно и дверь магазина ставнями, потом, сидя в кресле с отломившейся ручкой у стола, заваленного колесиками, коробочками, в которых было много часовых стекол и очень забавных кусочков меди, он долго говорил снова о том, что часовое ремесло требует внимания и ловкости. Взяв щипчиками тоненькую, свернувшуюся змеей пружинку карманных часов, он сказал:

– Вот, видишь, какая ничтожная, а в ней вся суть.

Недоверчиво глядя в жидкие, темные глаза, Платон спросил:

– Вы, что ли, добрый?

– Да, я незлой, – ответил хозяин.

Подумав, Платон спросил еще:

– А, может, вы – пьяный?

Ананий, смигнув из глаза на ладонь лупу, облизал рыжим языком седенькие усишки и осведомился:

– Почему же пьяный?

Платон объяснил:

– Добрые, это – пьяные, когда они не скандалят.

– Так, – сказал Ананий Тумпаков, подумав, – так. Разве отец твой пьет?

– Он и недобрый.

– Ага. Понимаю. Он бил тебя?

Платон промолчал, не зная, что выгоднее сказать: да или нет.

Тогда Ананий, заткнув глаз лупой, сказал очень тихо:

– Иди спать, мальчик. Я не дерусь.

Нужно было не очень много времени для того, чтоб Платон понял: его хозяин – один из тех людей, которых все остальные называют чудаками. Люди, приносившие в магазин большие часы, посмеивались над Ананием как над горбатым, говорили с ним точно с дурачком Игошей – Смерть в кармане. Он же, Ананий, говорил со всеми устало, тихо и неохотно. Его кожаное, бурое лицо, надутое как резиновый мяч, напоминало крышку суповой миски, шишечку крышки заменял нос; полному сходству с нею мешали только выкатившиеся глаза, они вздувались за стеклами очков темными пузырями и казалось, что только очки не позволяют им

лопнуть. Подбородок и тугие щеки Анания посыпаны как-будто молотым перцем и маковым зерном, лысина делала его выпуклый лоб почти вдвое больше лица.

Этот человек не рычал, не командовал, как отец, не учил скучно и строго, как школьный учитель. Он вообще был приятно непохож на всех людей, знакомых Платону, и мальчику хотелось видеть его красивым, как поп Фиалковский.

С утра до вечера Ананий, вставив лупу в глаз, сидел за столом против окна, щелкая чем-то, звякая, поскрипывая, подпиливая, рылся пухлыми пальцами в пыльном хаосе на столе и, вздыхая со свистом, бормотал прилипчивые, смолисто-темные слова:

– Нет, Софрон, это ты в воздухе, ты, Софрон, на канате...

Эти слова не заглушали разнозвучного, непрерывного чмокания и чваканья многочисленных маятников, скользивших по стенам маленького, сумрачного магазина, чавкая время. В словах хозяина было что-то навязчивое, и когда Платону становилось скучно чистить щеточкой различные колесики или чистить мелом медь гирь и цепей, он тихонько напевал:

– На-ка-чвак, на-те-чмок, Соф-чок, рон-чок...

Зимой злая лошадь предводителя дворянства Бобоева убила швейцара Еремина; Ананий, вместе с Платоном, проводил вахмистра в снежную и точно в железе вырубленную могилу; потом, закрыв магазин, несколько дней, с утра до вечера бегал по городу и, наконец, устало рассказал Платону, что повар, духовный отец его, обворовал вахмистра, но что есть Сиротский суд и дело еще можно поправить, а пока Платон имеет сто семьдесят три рубля. Ананий же назначен опекуном его. Он долго объяснял, что такое опекун, но Платон понял только одно: это не хлебопек. Думая о смерти отца, он очень пожалел, что ему не пришлось видеть, как лошадь убила вахмистра, такого силача.

В ясные дни в окно магазина после двух часов проникало солнце, все часы на левой от окна стене встречали его блеском ширококоржих, усатых циферблатов, а маятники раскалялись и отсекали лучи солнца, не допуская их коснуться стены.

Часто, почти каждый день, между четырьмя часами и шестью, дверь магазина с визгом и дребезгом отворялась и влезал, шумно отдуваясь, всегда полупьяный скотский доктор Веноленский, парусиновый человек в кожаной фуражке, похожей на кастрюлю, с разноцветным, как мыльный пузырь, лицом. Он – тоже толстый и в его шерстяной, спутанной бороде торчало множество зубов какого-то фальшивого рта. Платону он казался двуротым: зубы у доктора прорезались не там, где у всех людей, а значительно ниже, настоящий же человеческий рот невидимо и крепко зашит волосами, поэтому доктор говорит глухо, как в бочку, и все, что он говорит – неправда.

Голосом часов, стоявших в углу, в гробоподобном ящике, Ананий приказывал:

– Мальчик – чаю!

Когда Платон приносил поднос с двумя стаканами крепкого чая, сухарями, лимоном и густой, настоенной на сливах водкой в граненом графине. Ананий, смигнув лупу, смотрел на сизый нос гостя выкатившимися глазами и уговаривал его:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.